

Эрих Ремарк
Ночь в Лиссабоне

Возвращение с Западного фронта –



текст предоставлен правообладателем <https://litres.ru/27061646>
«Эрих Мария Ремарк. Ночь в Лиссабоне»: АСТ; Москва; 2017
ISBN 978-5-17-982747-4

Аннотация

<p>Трагический, полный драматизма роман о великой силе любви – любви, которая перед лицом смертельной опасности сокрушает любые преграды.</p><p>Тянется ночь в Лиссабоне, ждут своего часа эмигранты, чудом бежавшие из нацистской Германии, чтобы отправиться в Америку на корабле.</p><p>В эту ночь человек, потерявший последнее, что осталось от его жизни, в осколки разбитой войной, отчаянно исповедуется перед случайным встречным. Ночь, когда за бутылкой дешевого вина раскрывается кровоточащая душа и рассказывает рвущая душу история о страсти, нежности и жестокости, о странной верности и странной отваге...</p>

Эрих Мария Ремарк Ночь в Лиссабоне

Erich Maria Remarque
DIE NACHT VON LISSABON

Печатается с разрешения The Estate of the Late Paulette Remarque и литературных агентств Mohrbooks AG Literary Agency и Synopsis Literary Agency.

© The Estate of the late Paulette Remarque, 1962

© Перевод. Н. Н. Федорова, 2017

© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

Эрих Мария Ремарк прожил яркую жизнь: воевал на фронтах Первой мировой войны, но остался цел, увлекался автогонками, не разбился, избежал нацистских преследований, хотя его сестра была казнена фашистами, а его книги жгли на кострах.

Им зачитывались многие поколения читателей по всему миру, но Нобелевскую премию он так и не получил. Романы со знаменитыми актрисами, среди которых была сама Марлен Дитрих, бесконечные переезды из Германии в США, из США в Швейцарию, писательство, критика, журналистика...

В России Ремарка любили и читали всегда. Пожалуй, и до сих пор он – самый популярный зарубежный писатель XX века в России.

1

Я не сводил глаз с корабля. Ярко освещенный, он стоял поодаль от набережной, на Тежу. В Лиссабоне я находился уже неделю, но пока еще не привык к беспечному свету этого города. В тех краях, откуда я приехал, города по ночам тонули во мраке, черные, как угольные копи, а фонарь в темноте был опаснее чумы в Средние века. Я приехал из Европы двадцатого столетия.

Корабль – пассажирский пароход – стоял на погрузке. Я знал, что в море он должен выйти завтра вечером. В резком свете голых электрических ламп в трюмы загружали мясо, рыбу, консервы, хлеб и овощи; докеры тащили на борт багаж, а кран так бесшумно подносил ящики и тюки, будто они ничего не весили. Пароход готовился к рейсу, как ковчег времен потопа. Да это ибыл ковчег. Любой корабль, покидавший Европу в эти месяцы 1942 года, был ковчегом. Горой Аарат была Америка, а воды потопа день ото дня поднимались. Они

давным-давно поглотили Германию и Австрию, затопили Польшу и Прагу; Амстердам, Брюссель, Копенгаген, Осло и Париж уже ушли на дно, города Италии пахли потопом, да и в Испании стало небезопасно. Побережье Португалии сделалось последним пристанищем для беглецов, которые превыше родины и существования ценили справедливость, свободу и терпимость. Для того, кто не мог добраться отсюда в обетованную землю, в Америку, все было кончено. Ему назначено обессилеть в дебрях отказов во въездных и выездных визах, недостижимых разрешений на работу и жительство, лагерей для интернированных, бюрократии, одиночества, чужбины и страшного всеобщего безразличия к судьбе одиночки, какое неизбежно порождают война, страх и нищета. Человек в это время был уже ничем, действительный паспорт – всем.

После обеда я играл в казино, в Эшториле¹. Мой костюм выглядел пока вполне прилично, и меня туда пропустили. То была последняя, отчаянная попытка подкупить судьбу. Через несколько дней португальское разрешение на жительство истекало, а других виз мы с Рут не имели. Корабль, стоящий на Тежу, – последний, и во Франции мы надеялись отправиться на нем в Нью-Йорк; но все билеты оказались распроданы много месяцев назад, а нам, кроме американской въездной визы, недоставало еще и трехсот с лишним долларов на переход. Я пытался достать хотя бы денег, единственным способом, какой здесь пока что был возможен, – игрой. Попытка бессмысленная, ведь даже если бы я выиграл, попасть на корабль мы могли бы только чудом. Но отчаяние и опасность учат беглеца верить в чудеса – иначе-то не выживешь. Из шестидесяти двух долларов, какие у нас еще оставались, пятьдесят шесть я проиграл.

Поздней ночью набережная была почти безлюдна. Однако немного погодя я заметил мужчину, который бесцельно расхаживал туда-сюда, останавливался и, как и я, смотрел на корабль. Наверно, тоже один из многих потерпевших крушение, подумал я и уже не обращал на него внимания, пока не почувствовал, что он глядит на меня. Страх перед полицией не покидает беглеца никогда, даже во сне, даже когда бояться нечего, – поэтому я тотчас скучливо отвернулся и не спеша пошел прочь, как человек, которому совершенно нечего опасаться.

Вскоре я услышал за спиной шаги. Но продолжал идти не спеша, раздумывая, как бы известить Рут, если меня арестуют. Пастельные дома, которые спали в конце набережной, точно мотыльки в ночи, были еще слишком далеко, чтобы я без риска получить пулю добежал до них и исчез в переулках.

Незнакомец поравнялся со мной. Ростом он был чуть ниже меня.

– Вы немец? – спросил он по-немецки.

Не останавливаясь, я покачал головой.

– Австриец?

Я не ответил. Смотрел на пастельные дома, приближавшиеся слишком медленно. Знал ведь, что некоторые португальские полицейские прекрасно говорят по-немецки.

– Я не полицейский, – сказал мужчина.

Я ему не поверил. Он был в штатском, но в Европе меня раз пять задерживали жандармы в штатском. Сейчас документы у меня есть, причем неплохие, сделанные в Париже пражским профессором математики, но не вполне подлинные.

– Вы смотрели на корабль, – сказал мужчина. – Вот я и подумал...

Я смерил его равнодушным взглядом. На полицейского не похож; впрочем, последний жандарм, схвативший меня в Бордо, выглядел жалостно, прямо как Лазарь после трех дней во гробе, а оказался самым безжалостным из всех. Взял меня под арест, хотя знал, что через день в Бордо войдут немецкие войска и тогда все, спета моя песенка, но, к счастью, через несколько часов жалостливый директор тюрьмы отпустил меня на свободу.

– Хотите в Нью-Йорк? – спросил мужчина.

¹ Эшторил – курортный городок в окрестностях Лиссабона, где расположено известное казино.

Я не ответил. Еще двадцать метров – и при необходимости можно оттолкнуть его и смыться.

– У меня есть два билета на пароход, который стоит вон там, – сказал мужчина и полез в карман.

В самом деле билеты. Хотя в тусклом освещении ничего не прочтешь. Но мы уже достаточно близко от домов. Можно рискнуть и остановиться.

– Что все это значит? – спросил я по-португальски. На несколько слов моих познаний хватало.

– Вы можете их получить, – сказал он. – Мне они не нужны.

– Не нужны? Что это значит?

– Больше не нужны.

Я смотрел на незнакомца. И не понимал его. Кажется, он и вправду не полицейский. Чтобы арестовать меня, в таких нелепых уловках нет необходимости. Но если билеты подлинные, то почему он не может ими воспользоваться? И почему предложил их мне? Чтобы продать? Что-то во мне затрепетало.

– Я не могу их купить, – в конце концов сказал я по-немецки. – Они стоят целое состояние. В Лиссабоне, говорят, есть богатые эмигранты, они заплатят вам, сколько запросите. Вы обратились не по адресу. У меня денег нет.

– Я не хочу их продавать, – сказал он.

Я опять посмотрел на билеты:

– Они настоящие?

Ни слова не говоря, он протянул их мне. Они хрустнули в моих руках. Настоящие. Обладание ими – рывок от гибели к спасению. Я, правда, не мог ими воспользоваться, потому что у нас не было американских виз, но мог завтра утром еще попробовать с их помощью получить визы... или хотя бы продать их. Это означало лишних шесть месяцев жизни. Я не понимал этого человека.

– Я вас не понимаю, – сказал я.

– Вы можете получить их, – отвечал он. – Даром. Завтра утром я уеду из Лиссабона. Но у меня есть одно условие.

Я опустил руки. Так и знал, это не может быть правдой.

– Какое же? – спросил я.

– Мне бы не хотелось оставаться этой ночью одному.

– Вы хотите, чтобы я был с вами?

– Да. До завтрашнего утра.

– И все?

– Все.

– Больше ничего?

– Ничего.

Я недоверчиво смотрел на него. Привык, конечно, что люди вроде нас порой не выдерживали, часто не могли оставаться одни, страдали агорафобией, как те, кому уже нигде нет места, и товарищ в夜里, пусть даже совершенно незнакомый, может спасти от самоубийства, но в таких случаях помогать друг другу вполне естественно, и никакую цену за это не назначали. Тем паче такую.

– Где вы живете? – спросил я.

Он отмахнулся.

– Туда я не хочу. Здесь найдется ресторанчик, где можно посидеть?

– Наверняка найдется.

– А нет такого, чтоб для эмигрантов? Вроде парижского кафе «Роза»?

Кафе «Роза» я знал. Две недели мы с Рут там ночевали. Хозяин позволял, если закажешь кофе. Приносишь газеты и устраиваешься на полу. На столах я не спал никогда; с полу не упадешь.

– Такого я не знаю. – Вообще-то я знал один, но человека, у которого есть два билета на

пароход, не водят туда, где народ глаз себе выколет, лишь бы их заполучить.

— Я знаю здесь только одно заведение, — сказал незнакомец. — Но можно попытаться. Вдруг там еще открыто.

Он подозвал одинокое такси, взглянул на меня.

— Ладно, — сказал я.

Мы сели в машину, и он назвал шоферу адрес. Хорошо бы сообщить Рут, что этой ночью я не вернусь; но, когда я садился в дурно пахнущее, темное такси, меня вдруг захлестнула такая отчаянная, жуткая надежда, что я едва устоял на ногах. Может, все это и в самом деле правда, может, наша жизнь еще не кончилась и невозможное сбудется — наше спасение. Я уже не решался ни на миг оставить незнакомца одного.

Мы объехали театральную кулису площади Праса-ду-Комерсиу и немного погодя очутились в лабиринте лестниц и переулков, ведущих в гору. Эта часть Лиссабона была для меня незнакомой; как обычно, я знал главным образом церкви да музеи — не потому, что так сильно любил Бога или искусство, а просто потому, что в церквях и музеях не спрашивали документы. Перед Распятым и мастерами искусства ты покамест оставался человеком, а не индивидом сомнительными бумагами.

Мы вышли из такси и зашагали вверх по лестницам и путанным переулкам. Пахло рыбой, чесноком, ночных цветами, мертвым солнцем и сном. Сбоку под восходящей луной вырастал из ночи замок Святого Георгия, и свет, словно водопад, каскадами струился вниз по множеству ступеней. Я обернулся, посмотрел на гавань. Внизу лежала река, и река эта была свободой, жизнью, она впадала в море, а море было Америкой.

Я остановился:

— Надеюсь, вы не шутите.

— Нет, — ответил незнакомец.

— То есть не шутите насчет билетов на пароход?

На набережной он снова спрятал их в карман.

— Нет, не шучу. — Он кивнул на маленькую площадь, окаймленную деревьями. — Вон там находится кафе, о котором я говорил. Пока открыто. Мы не привлечем внимания. Кроме иностранцев, туда мало кто заходит. Нас примут за людей, которые завтра уедут. Как и все прочие, что отмечают там свою последнюю ночь в Португалии, а наутро садятся на корабль.

Кафе оказалось чем-то вроде бара, с маленькой площадочкой для танцев и террасой — заведение, рассчитанное на туристов. Слышались звуки гитары, в глубине виднелась певица, исполнительница фаду. Несколько столиков на террасе занимали иностранцы. Среди них женщина в вечернем платье и мужчина в белом смокинге. Мы устроились в конце террасы. Оттуда открывался вид на Лиссабон, на церкви в блеклом свете, на освещенные улицы, гавань, доки и корабль, который был ковчегом.

— Вы верите в жизнь после смерти? — спросил человек с билетами.

Я поднял взгляд. Вот так вопрос! Я ожидал чего угодно, только не этого.

— Не знаю, — в конце концов ответил я. — В последние годы меня слишком занимала жизнь до смерти. Доберусь до Америки, тогда с удовольствием подумаю об этом, — добавил я, напоминая, что он обещал мне билеты.

— А я в нее не верю, — сказал он.

Я облегченно вздохнул. Был готов выслушать несчастливца, но вести философские дискуссии вовсе не хотел. Спокойствия недоставало. На реке стоял корабль.

Некоторое время незнакомец словно бы спал с открытыми глазами. Однако когда на террасу вышел гитарист, он встрепенулся.

— Мое имя Шварц, — сообщил он. — Не настоящее, конечно, а то, что значится в паспорте. Но я привык к нему, и на сегодняшнюю ночь его достаточно. Вы долго жили во Франции?

— Пока мог.

— Интернированы?

– Когда началась война. Как все остальные.

Мужчина кивнул.

– Мы тоже. Я был счастлив, – неожиданно сказал он, тихо и быстро, опустив голову, глядя в сторону. – Очень счастлив. Даже не представлял себе, что могу быть так счастлив.

Я с удивлением обернулся. В самом деле, по нему никак не скажешь. Он производил впечатление человека вполне заурядного, причем довольно робкого.

– Когда? – спросил я. – Неужели в лагере?

– В последнее лето.

– В тридцать девятом? Во Франции?

– Да. В предвоенное лето. Я и сейчас не понимаю, как все вышло. Вот почему мне необходимо с кем-нибудь об этом поговорить. Я никого здесь не знаю. А если поговорю об этом с кем-нибудь, оно снова оживет. И станет тогда совершенно ясным. И сохранится. Нужно только еще раз... – Он осекся. А немногого погодя спросил: – Понимаете?

– Да, – ответил я и осторожно добавил: – Понять несложно, господин Шварц.

– Это вообще невозможно понять! – возразил он, неожиданно резко и страстно. – Она лежит там, внизу, в комнате с закрытыми окнами, в мерзком деревянном гробу, мертвая, уже не существующая! Кто может это понять? Никто! Ни вы, ни я, никто, а тот, кто говорит, что понимает, лжет!

Я молча ждал. Не раз мне доводилось сидеть вот так с разными людьми. Когда у тебя нет родной страны, утраты пережить труднее. Тогда нет опоры, и чужбина становится до ужаса чужой. Я пережил такое в Швейцарии, когда получил известие, что моих родителей в Германии убили в концлагере и сожгли. Я постоянно думал о глазах матери в огне печи. Эта картина преследовала меня до сих пор.

– Полагаю, вы знаете, что такое эмигрантское безумие, – уже спокойнее сказал Шварц.

Я кивнул. Официант принес мисочку креветок. Я вдруг почувствовал, что очень проголодался, и вспомнил, что с полудня ничего не ел. Нерешительно посмотрел на Шварца.

– Ешьте, – сказал он. – Я подожду.

Он заказал вино и сигареты. Я торопливо ел. Креветки были свежие и пряные.

– Извините, – сказал я, – я правда очень проголодался.

Я ел и смотрел на Шварца. Он спокойно сидел, глядя вниз, на театральный город, без нетерпения и досады. Во мне шевельнулось что-то вроде симпатии. Как видно, он покончил с заповедями ложного благоприличия и знал, что человек может быть голодным и не откажется от еды, хотя кто-то рядом страдает, и бесчувственность здесь ни при чем. Если сделать для ближнего ничего не можешь, нет ничего дурного в том, чтобы утолить голод его хлебом, пока не отняли. Кто знает, когда отнимут.

Я отодвинул тарелку, взял сигарету. Давно не курил. Экономил деньги, чтобы на сегодняшнюю игру побольше осталось.

– Эмигрантское безумие одолело меня весной тридцать девятого, – сказал Шварц. – После пяти с лишним лет в эмиграции. Вы где были осенью тридцать восьмого?

– В Париже.

– Я тоже. В ту пору я вконец пал духом. Накануне Мюнхенского соглашения. Агония страха. Я еще автоматически прятался и защищался, но уже поставил точку. Будет война, придут немцы и заберут меня. Такова моя судьба. Я смирился.

Я кивнул:

– Это было время самоубийств. Странно, когда через полтора года в самом деле пришли немцы, самоубийства случались реже.

– Потом заключили Мюнхенские соглашения, – сказал Шварц. – Тогда, осенью тридцать восьмого, нам вдруг снова подарили жизнь! Она казалась такой легкой, что люди забывали об осторожности. В Париже даже второй раз зацвели каштаны, помните? Я стал настолько легкомыслен, что чувствовал себя человеком и, увы, так себя и вел. Полиция схватила меня и по причине повторного недозволенного въезда засадила на месяц под арест.

Потом началась старая игра: под Базелем швейцарцы выдворили меня назад, за границу, французы в другом месте опять выпихнули в Швейцарию, арестовали... Ну, вы же знаете эти шахматы с людьми...

— Знаю. Зимой было не до шуток. Самые лучшие тюрьмы — швейцарские. Теплые, как гостиницы.

Я опять взялся за еду. В неприятных воспоминаниях есть кое-что хорошее: они убеждают, что ты счастлив, пусть даже секундой раньше думал, что отнюдь нет. У счастья много степеней. Кто это понимает, редко бывает совсем несчастлив. Я был счастлив в швейцарских тюрьмах, потому что они были не немецкие. Но передо мной-то сидел человек, утверждавший, что владел счастьем, хотя где-то в Лиссабоне, в душной комнате, стоял деревянный гроб.

— Когда меня последний раз выпустили на волю, то пригрозили выдворить в Германию, если снова поймают без документов, — сказал Шварц. — Всего-навсего угроза, но я испугался. Начал обдумывать, что мне делать, если так случится на самом деле. Потом мне ночами стало сниться, что я вправду там и за мной охотится СС. Этот сон повторялся так часто, что в конце концов я и заснуть боялся. Вам и это тоже знакомо?

— Впору диссертацию писать, — ответил я. — К сожалению.

— Однажды ночью мне приснилось, будто я в Оsnабрюке, в городе, где раньше жил сам и где по-прежнему жила моя жена. Я стоял в ее комнате и видел, что она хворает. Она очень исхудала и плакала. В испуге я проснулся. Больше пяти лет я не видел ее и ничего о ней не слышал. И никогда ей не писал, потому что не знал, досматривают ли ее почту. Перед бегством она обещала мне подать на развод. Это убережет ее от неприятностей. Несколько лет я был уверен, что она так и поступила.

Шварц помолчал. Я не спрашивал, почему он покинул Германию. Причин для этого хватало. И интереса они не представляли, поскольку любая была несправедлива. Быть жертвой неинтересно. Он либо еврей, либо состоял в политической партии, враждебной нынешнему режиму, либо имел врагов, которые вдруг стали влиятельными, — существовали десятки причин, чтобы угодить в Германии в концлагерь или лишиться жизни.

— Мне удалось снова добраться до Парижа, — сказал Шварц. — Но тот сон не оставлял меня. Снился снова и снова. Одновременно пошла прахом и иллюзия Мюнхенских соглашений. Весной стало ясно, что война неизбежна. Ее чуяли, как чуют пожар задолго до того, как увидят его. Лишь мировая дипломатия беспомощно закрывала глаза и предавалась несбыточным мечтаниям — о втором и третьем Мюнхене, обо всем, только не о войне. Никогда вера в чудо не была так велика, как в наше время, когда никаких чудес уже не случается.

— Случаются, — возразил я. — Иначе бы никто из нас не остался в живых.

Шварц кивнул:

— Вы правы. Частные чудеса. Я сам пережил одно такое. Все началось в Париже. Я неожиданно получил в наследство действительный паспорт. Этот самый, на имя Шварца. Принадлежал он австрийцу, с которым я познакомился в кафе «Роза». Он умер и завещал мне свой паспорт и деньги. Во Францию он приехал всего три месяца назад. Мы встретились в Лувре... перед полотнами импрессионистов. Я тогда проводил там много времени, чтобы успокоиться. Когда стоишь перед этими напоенными солнцем, мирными пейзажами, не верится, что вид животных, способный создать такое, одновременно способен планировать убийственную войну, — иллюзия, конечно, однако ж она на часок слегка понижает кровяное давление.

Человек с паспортом на имя Шварца часто сидел перед картинами Моне, изображающими кувшинки и соборы. Мы разговорились, и он рассказал, что после того, как власть в Австрии захватили нацисты, ему удалось освободиться и покинуть страну, отказавшись от своего состояния. А заключалось оно в коллекции импрессионистов, которая отошла государству. Он не жалел. Пока в музеях выставлены картины, он может любоваться ими как своими собственными, вдобавок не тревожясь о пожаре и краже. Да и картины во

французских музеях получше тех, какими владел он. Коллекционер прикован к своему ограниченному собранию, как отец к семейству, с обязательством отдавать предпочтение своим и, стало быть, находиться под их влиянием, теперь же ему принадлежали все картины открытых собраний, причем для этого даже пальцем шевелить незачем. Странный человек, тихий, кроткий и веселый, невзирая на все, что пережил. Денег он смог вывезти очень мало, но спас некоторое количество старинных почтовых марок. Почтовые марки спрятать несложно, легче, нежели брильянты. С брильянтамиходить неудобно, когда они спрятаны в ботинках, а тебя ведут на допрос. Да и продать их невозможно без больших потерь и массы вопросов. Марки же интересны для коллекционеров. А коллекционеры не очень-то задают вопросы.

— Как же он их вывез? — спросил я с профессиональным любопытством эмигранта.

— Взял с собой старые, невинные, вскрытые письма и сунул марки под подкладку конвертов. Таможенники досматривали письма, но не конверты.

— Ловко, — сказал я.

— Кроме того, он прихватил еще два маленьких портрета работы Энгра. Карандашные рисунки. Вложил их в широкие паспарту и безвкусные якобы золоченные рамки и сказал, что это портреты его родителей. С изнанки паспарту он незаметно вклеил два рисунка Дега.

— Ловко, — опять сказал я.

— В апреле у него случился сердечный приступ, и он отдал мне свой паспорт, остатки марок и рисунки. Дал и адреса людей, которые купят марки. Когда я зашел к нему следующим утром, он лежал в постели мертвый, и я едва узнал его, так он изменился в упокоении. Я забрал деньги, которые у него оставались, костюм и немного белья. Накануне он сказал, чтобы я это сделал, пусть вещи достанутся товарищам по несчастью, а не квартирному хозяину.

— Вы что-то меняли в паспорте?

— Только фото и год рождения. Шварц был на двадцать пять лет старше меня. А имена у нас одинаковые.

— И кто это сделал? Брюннер?

— Кто-то из Мюнхена.

— Тогда наверняка Брюннер, паспортный доктор. Очень дальний человек.

Брюннер славился хорошей работой. Многим помог, но, когда был арестован, сам документов не имел, по причине суеверия: думал, что раз он честный и делает добрые дела, то ничего с ним случиться не может, пока он не использует свое искусство ради себя самого. До эмиграции у него была в Мюнхене маленькая типография.

— Где он теперь? — спросил я.

— А разве не здесь, в Лиссабоне?

Я не знал. Хотя вполне возможно, если он еще жив.

— Так странно было иметь паспорт, — сказал Шварц-второй. — Я не решался им пользоваться. И так-то несколько дней потребовалось, чтобы привыкнуть к новой фамилии. Я все время твердил ее про себя. Шел по Елисейским Полям и бормотал фамилию, новую дату и место рождения. Сидел в музее перед Ренуаром и, если был один, шептал воображаемый диалог... резким голосом: «Шварц!», чтобы тотчас вскочить и ответить: «Я!»... или рявкал: «Фамилия!», чтобы тотчас автоматически отбарабанить: «Йозеф Шварц, родился в Винер-Нойштадте двадцать второго июня тысяча восемьсот девяносто восьмого года». Даже вечером перед сном тренировался. Вдруг ночью меня поднимет на ноги полиция, а я спросонья брякну не то, что надо. Хотел забыть свое прежнее имя. Вот в чем разница между отсутствием паспорта и обладанием фальшивым паспортом. Фальшивый опаснее.

Рисунки Энгра я продал. Дали за них меньше, чем я рассчитывал, но неожиданно у меня появились деньги, давно я не видел такой суммы.

И вот однажды ночью мне пришла в голову мысль, которая потом уже не отпускала.

Нельзя ли с этим паспортом съездить в Германию? Он ведь почти действительный, так почему на границе непременно что-нибудь заподозрят? Тогда я смогу повидать жену. Смогу унять страх за нее. Смогу...

Шварц посмотрел на меня.

— Вам это наверняка знакомо! Эмигрантское безумие в чистейшем виде. Спазм в желудке, в горле и в глазницах. То, что пять лет кряду втаптывал в землю, старался забыть, избегал как чумы, поднимается вновь — смертельное воспоминание, рак души для эмигранта!

Я пытался освободиться. Ходил, как прежде, к картинам мира и тишины, к Сислею, к Писсарро, к Ренуару, часами сидел в музее... но теперь они действовали на меня иначе. Уже не успокаивали, наоборот, стали звать, требовать, напоминать... о стране, которую еще не затопила коричневая чума, о вечерах в переулках, где над каменными оградами свисали гроздья сирени, о золотых сумерках старинного города, о его зеленых церковных башнях, вокруг которых вились ласточки... и о жене.

Я человек заурядный, особенных качеств не имею. Прожил с женой четыре года, как живут обычно: без сложностей, приятно, но и без большой страсти. После первых месяцев наши отношения стали тем, что принято называть хорошим браком, — узами, связующими людей, которые сознают, что взаимное уважение есть основа спокойной совместной жизни. Мечтаниями мы не увлекались. По крайней мере, мне так казалось. Были разумными людьми. Искренне любили друг друга.

Теперь все изменилось. Я стал винить себя, что вел в браке такую заурядную жизнь. Все упустил. Ради чего жил? Что делал теперь? Прятался, прозябал. Долго ли так будет продолжаться? И чем кончится? Начнется война, и победит наверное Германия. Единственная страна, которая вооружена до зубов. Что тогда будет? Куда я спрячусь, если еще будет время и дыхание? В каком лагере умру с голоду? У какой стены меня убьют выстрелом в затылок, если повезет?

Паспорт, который должен был успокаивать, доводил меня до отчаяния. Я метался по улицам, пока от усталости едва не падал с ног, но и спать не мог, а если засыпал, сны вновь будили меня. Я видел жену в подвале гестапо, слышал, как она зовет на помощь с заднего двора гостиницы, а однажды, когда я вошел в кафе «Роза», в зеркале, висевшем наискосок против входа, мне почудилось ее лицо, на миг оно обернулось ко мне, бледное, с безутешным взглядом, и тотчас скользнуло прочь. Видение было необычайно отчетливым, я решил, что она там, и поспешил в заднее помещение. Как всегда, там было полно народа, но ее я не нашел.

Несколько дней меня преследовала эта навязчивая идея: она приехала сюда и ищет меня. Сотни раз я видел, как она сворачивает за угол, как сидит на скамейках Люксембургского сада, а когда подходил ближе, мне навстречу с удивлением смотрело чужое лицо; она пересекла площадь Согласия, за секунду до того, как поток автомобилей вновь сорвался с места, и на сей раз это вправду была она — ее походка, ее осанка, даже платье показалось мне знакомым, но когда регулировщик наконец опять остановил движение и я бросился за ней вдогонку, она исчезла, поглощенная черным зевом метро, а когда я добрался до платформы, то увидел в темноте лишь глумливые хвостовые огни отъехавшего поезда.

Я доверился одному из знакомых. Звали его Лёзер, он торговал чулками, но раньше был врачом в Бреслау. Он посоветовал мне меньше сидеть в одиночестве. Сказал: «Найдите себе женщину».

Без толку. Вы же знаете эти романы по необходимости, от одиночества, от страха, порыв к хоть какому-то теплу, к голосу, телу... пробуждение в убогой комнатенке в чужой стране, словно рухнул под землю, а потом унылая благодарность за то, что слышишь рядом чужое дыхание... но много ли это значит в сравнении с могучим напором фантазии, которая пьет кровь и заставляет человека просыпаться утром с мутным ощущением, что он себя изнасиловал?

Сейчас, когда я рассказываю, все это выглядит нелепо и противоречиво; тогда было

иначе. После всех борений оставалось только одно: надо вернуться. Надо еще раз увидеть жену. Возможно, она давным-давно живет с другим. Но какая разница? Я должен ее увидеть. Это казалось мне совершенно логичным.

Вести о предстоящей войне множились. Каждый видел, что Гитлер, который сразу нарушил свое обещание занять лишь Судетскую область, а не всю Чехословакию, теперь затевает то же самое с Польшей. Война неизбежна. Союзные договоры Франции и Англии с Польшей иного не допускали. И это был уже не вопрос месяцев, а вопрос считанных недель. Как и для меня. Как и для моей жизни. Надо было решаться. И я решился. Поеду туда. Что делать потом, я не знал. И не думал об этом. Если грянет война, мне все равно конец. Так почему бы не совершить безумный поступок?

В последние дни меня охватило странное веселье. Стоял май, клумбы на Рон-Пуан пестрели тюльпанами. Ранние вечера уже полнились серебристым светом импрессионистов, голубели тенями, и высокое светло-зеленое небо служило фоном холодному газовому свету первых уличных фонарей и беспокойным красным лентам неоновых надписей на крышах зданий газет, которые возвещали о войне каждому, кто умел их прочесть.

Сначала я поехал в Швейцарию. Хотел опробовать свой паспорт на безопасной территории, прежде чем поверить в него. Французский таможенник равнодушно вернул его мне, как я и ожидал. Сложности с выездом чинят только в диктаторских странах. Но когда появился швейцарец, я почувствовал, как что-то внутри у меня свело судорогой. Я изо всех сил старался сидеть спокойно, но мне казалось, будто края моих легких дрожат, как порой в полном безветрии один листок на дереве трепещет, словно безумный.

Он рассматривал мой паспорт. Огромный, широкоплечий таможенник, пахнувший трубочным дымом. Стоя в купе, он заслонил окно, и на миг меня захлестнуло гнетущее ощущение, что он перекрыл небо и свободу – будто купе уже стало тюремной камерой. Потом он вернул мне паспорт.

«Вы забыли поставить штамп», – сам того не желая, быстро сказал я, в приливе облегчения.

Таможенник усмехнулся: «Успеется. Вам это так важно?»

«Да нет. Просто он тогда будет своего рода сувениром».

Он поставил в паспорт штамп и ушел. Я прикусил губу. До чего же нервным я стал! Потом мне подумалось, что со штампом паспорт выглядит несколько более настоящим.

В Швейцарии я целый день раздумывал, не стоит ли и в Германию поехать поездом, однако не решился. Вдобавок неизвестно, вдруг они проверяют возвращенцев с особой тщательностью, даже тех, кто родом из бывшей Австрии. Вряд ли, конечно, но на всякий случай лучше перейти границу нелегально.

Поэтому в Цюрихе, как и раньше, я первым делом отправился на главный почтамт. У окошка корреспонденции до востребования там обычно можно встретить знакомых – таких же скитальцев без разрешения на жительство, которые могут сообщить какую-нибудь информацию. Оттуда я пошел в кафе «Грайф», таможний вариант кафе «Роза». Повстречал разных людей, которые ходили через границу, но никто из них не знал в точности, где можно пробраться в Германию. Оно и понятно. Кому, кроме меня, охота в Германию? Я замечал, как они смотрели на меня, а потом, уразумев, что я говорю всерьез, торопились отойти. Раз человек хочет вернуться, он наверняка перебежчик; ведь возвращение предполагает и приятие режима, не так ли? И что еще он сделает, если готов на такое? Кого предаст? Что выболтает?

Я вдруг остался один. Меня избегали, как избегают убийцу. Ведь и объяснить я ничего не мог; временами меня самого охватывала такая жуткая паника, что я потом обливался при мысли о своей затее, – где уж тут объяснять другим!

На третий день, в шесть утра, пришел полицейский, поднял меня с постели. Принялся дотошно расспрашивать. Я сразу сообразил, что донес на меня один из знакомых.

Недоверчиво изучив мой паспорт, полицейский забрал меня на допрос. Штамп в паспорте теперь в самом деле был удачей. Я мог доказать, что въехал в страну легально и нахожусь здесь всего три дня. Как сейчас помню раннее утро, когда шел с полицейским по улицам. День выдался ясный, башни и крыши города четко, словно вырезанные из металла, проступали на фоне неба. Из какой-то пекарни пахло свежим хлебом, и казалось, в этом запахе сосредоточено все на свете утешение. Вам это знакомо?

Я кивнул.

– Мир вокруг видится как никогда прекрасным в тот миг, когда тебя арестуют. Перед тем, как ты его покинешь. Вот бы всегда чувствовать его таким! Наверно, для этого просто не хватает времени. И покоя.

Шварц покачал головой:

– Покой тут ни при чем. Я так чувствовал.

– И могли удержать это чувство? – спросил я.

– Не знаю, – медленно проговорил Шварц. – Именно это я и должен выяснить. Оно выскользнуло у меня из рук... но было ли целиком моим, когда я держал его? Может быть, теперь у меня есть шанс вернуть его еще более сильным и удержать навсегда? Теперь, когда оно не меняется? Разве беспрерывно не теряешь то, что как будто бы держишь, именно потому, что оно двигается? И разве оно не останавливается только тогда, когда уже не существует и не может меняться? Может быть, лишь тогда оно и становится твоим?

Его неподвижный взгляд был устремлен на меня. Впервые он смотрел мне прямо в глаза. Зрачки расширены. Фанатик или безумец, вдруг подумал я.

– Мне это незнакомо, – сказал я. – Но ведь этого хочет каждый? Удержать то, что удержать невозможно? И покинуть то, что не желает тебя покинуть?

Сидевшая за соседним столиком женщина в вечернем платье встала. Взглянула с веранды вниз, на город и гавань.

– Дорогой, ну почему нам надо возвращаться? – сказала она мужчине в белом смокинге. – Если б мы могли остаться! Мне совсем не хочется обратно в Америку.

2

– Цюрихская полиция продержала меня под арестом всего один день, – сказал Шварц. – Но для меня он был тяжким. Я боялся, что они проверят мой паспорт. Достаточно позвонить по телефону в Вену или поручить специалисту проверить подправленные данные.

К вечеру я успокоился. Смотрел на предстоящее как на этакий Божий суд. Меня как бы избавили от необходимости принимать решение. Если посадят в тюрьму, я не попытаюсь попасть в Германию. Однако вечером меня выпустили и настоятельно рекомендовали как можно скорее выехать из Швейцарии.

Я решил ехать через Австрию. Тамошнюю границу я немного знал, и охраняют ее наверняка не так тщательно, как немецкую. Да и зачем их вообще тщательно охранять? Кто туда пойдет? Но, вероятно, многие хотели уйти оттуда.

Я поехал в Оберрийт, чтобы попробовать где-нибудь там перейти границу. Лучше бы дождаться дождливой погоды, однако целых два дня было ясно. На третью ночь я отправился в путь, чтобы не привлекать внимание обитателей городка к своей персоне.

Ночь выдалась звездная. Кругом царило такое безмолвие, что мне казалось, я слышу тихие шорохи роста. Вы знаете, при опасности зрение меняется... не то чтобы взгляд становится острее, фокусируется, скорее зрячим становится все тело, ты как бы видишь кожей, особенно ночью. Шорохи и те делаются прямо-таки зрымыми, настолько и слух перемещается на кожу. Открываешь рот и слушаешь, и рот тоже словно бы видит и слышит.

Мне никогда не забыть ту ночь. Я полностью сознавал себя, все мои чувства были широко распахнуты, я приготовился ко всему, но абсолютно не испытывал страха. Словно бы шел по высокому мосту, с одного берега своей жизни к другому, и знал, что за моей спиной этот мост растает, как серебряный дым, и вернуться я никогда не смогу. Шел от

разума в чувство, от надежности в авантюру, от рационального в иллюзорное. Я был совершенно один, но на сей раз одиночество не мучило, в нем сквозило прямо-таки что-то мистическое.

Я вышел к Рейну, в этом месте еще юному и не очень широкому. Разделяя, связал одежду в узел, чтобы держать над головой. Странное ощущение овладело мной, когда я нагишом погрузился в воду. Она была черная, очень холодная и чужая, я будто окунулся в Лету, чтобы испить забвения. Вдобавок необходимость плыть нагишом показалась мне символом, что я все оставляю позади.

На берегу я обсушился и продолжил путь. Проходя мимо какой-то деревни, услышал, как залаяла собака. Я не знал, где именно проходит граница, и потому держался на обочине дороги, которая вела вдоль опушки рощи. Долгое время я не встречал ни души. Так и шел до утра. Внезапно пала сильная роса, и на краю просеки появилась косуля. А я все шел, пока не услышал громыханье первых крестьянских телег. И тогда спрятался поблизости от дороги. Не хотел вызывать подозрений, ведь был на ногах в такую рань да еще и шел со стороны границы. Позднее я увидел двух таможенников, кативших на велосипедах по проселку. Узнал их мундиры. Я находился в Австрии. В ту пору Австрия уже год принадлежала к Германии.

Женщина в вечернем платье и ее спутник ушли с террасы. Плечи женщины покрывал густой загар, и ростом она была выше своего кавалера. Еще несколько туристов не спеша спускались вниз по лестницам. Все они шли как люди, которых никто и никогда не преследовал. Ни один не оглянулся.

— Я захватил с собой бутерброды, — продолжал Шварц, — и отыскал ручей, чтобы напиться. В полдень отправился дальше. Шел я в городок Фельдкирх, зная, что летом его посещают отпускники, а потому надеялся не привлечь там особого внимания. Там и поезд останавливались. В конце концов я добрался до Фельдкирха. И ближайшим поездом поехал прочь от границы, подальше от самой опасной зоны. Вошел в купе — и увидел двух штурмовиков в форме.

По-моему, в этот миг мне помогли тренировки с европейской полицией, иначе я бы, наверно, отпрянул назад. Словом, я вошел и сел в уголке возле мужчины в грубошерстном костюме и с ружьем.

Вот так впервые после пятилетнего перерыва я столкнулся со всем тем, что для меня олицетворяло мерзость. В минувшие недели я часто представлял себе эту встречу, но реальность оказалась иной. Среагировало тело, а не голова; желудок, ставший камнем, рот, обернувшийся рашилем.

Охотник и штурмовики вели разговор о некой вдове Пфунднер. Она, судя по всему, была особа весьма бойкая, потому что все трое перечисляли ее интрижки. Потом они стали закусывать. Бутербродами с ветчиной. «Куда направляешься, сосед?» — спросил у меня охотник.

«В Брегенц возвращаюсь», — ответил я.

«Вы, стало быть, не местный?»

«Верно, я в отпуске».

«И откуда же вы будете?»

Секунду я помедлил. Если скажу, что из Вены, как значится в паспорте, все трое, пожалуй, заметят, что говорю я не на мягким венском диалекте. «Из Ганновера, — сказал я. — Больше тридцати лет там живу».

«Из Ганновера! Далеконько».

«Что правда, то правда. Но ведь в отпуске не хочется торчать дома».

Охотник рассмеялся: «Это верно. И с погодкой вам повезло!»

Я чувствовал, что рубашка прилипла к телу. «Отличная погода, — кивнул я, — только жарковато, будто лето уже в разгаре».

Троица опять принялась перемывать косточки вдове Пфунднер. Через несколько

остановок они сошли, и я остался в купе один. Теперь поезд проезжал один из красивейших ландшафтов Европы, но я мало что видел. На меня вдруг накатил почти невыносимый приступ сожаления, страха и отчаяния. Я уже совершенно не понимал, зачем перешел границу. Не шевелись, сидел в углу и смотрел в окно. Я попал в ловушку, причем сам захлопнул за собой дверцу. Раз десять порывался сойти и ночью попробовать вернуться в Швейцарию.

Но не сошел. Левая рука крепко сжимала в кармане паспорт покойного Шварца, словно он мог придать мне силы. Я твердил себе, что теперь уже все равно, задержусь я вблизи границы или нет, и чем дальше я уезжаю в глубь страны, тем меньше опасность. Я решил и ночь провести в вагоне. В поездах меньше интересуются документами, чем в гостинице.

Типично, что, поддавшись панике, думаешь, будто отовсюду на тебя нацелены прожектора и миру делать больше нечего, кроме как искать тебя. Не можешь отделаться от ощущения, будто все клетки тела хотят стать самостоятельными, ноги хотят создать дергающееся ножное царство, руки – быть только сопротивлением и ударом, и даже губы и рот, трепеща, способны лишь сдержать невнятный крик.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.